

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Михаил
БУЛГАКОВ

ТРАКТАТ О ЖИЛИЩЕ
1926



im WERDEN-VERLAG
МОСКВА - AUGSBURG 2003



СОДЕРЖАНИЕ

Трактат о жилище	3
Псалом	7
Четыре портрета	10
Самогонное озеро	13

Текст печатается с исправлением явных опечаток и ошибок по изданию:
«Трактат о жилище». Издательство «Земля и фабрика» Москва-Ленинград, 1926. Библиотека сатиры и юмора. Тираж 10000 экз.

© «Im-Werden-Verlag». Составление и оформление. 2003
<http://www.imwerden.de>
info@imwerden.de

ТРАКТАТ О ЖИЛИЩЕ

I

Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921 - 1924 годов. О, нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек. Я поднимался почти во все шестые этажи, в каких только помещались учреждения, а так как не было положительно ни одного 6-го этажа, в котором не было бы учреждения, то этажи знакомы мне все решительно. Едешь, например, на извозчике по Златоуспенскому переулку в гости к Юрию Николаевичу и вспоминаешь:

— Ишь домина! Позвольте, да ведь я в нем был! Был, честное слово! И даже припомню, когда именно. В январе 1922 года. И какого чорта меня носило сюда? Извольте. Это было, когда я поступил в частную торгово-промышленную газету и просил у редактора аванс. Аванса мне редактор не дал, а сказал: „Идите в Златоуспенский переулок, в 6 этаж, комната № ”... позвольте, 242? а может и 180?.. Забыл. Неважно... Одним словом: „Идите и получите объявление в Главхиме”... или Центрохиме? Забыл. Ну, неважно... „Получите объявление, я вам 25%”. Если бы теперь мне кто-нибудь сказал: „Идите, объявление получите”, я бы ответил: „Не пойду”. Не желаю ходить за объявлениями. Мне не нравится ходить за объявлениями. Это не моя специальность. А тогда... О, тогда было другое. Я покорно накрылся шапкой, взял эту дурацкую книжку объявлений и пошел как лунатик. Был совершенно невероятный, какого никогда даже не бывает, мороз. Я влез на 6-й этаж, нашел эту комнату № 200, в ней нашел рыжего лысого человека, который, выслушав меня, не дал мне объявления.

Кстати, о 6-х этажах. Позвольте, кажется, в этом доме есть лифты? Есть. Есть. Но тогда, в 1922 году, в лифтах могли ездить только лица с пороком сердца. Это во-первых. А во-вторых, лифты не действовали. Так что и лица с удостоверениями о том, что у них есть порок, и лица с непорочными сердцами (я в том числе), одинаково поднимались пешком на 6-й этаж.

Теперь другое дело. О, теперь совсем другое дело. Па Патриарших прудах, у своих знакомых, я был совсем недавно. Благодушно поднимаясь на своих ногах в 6-й этаж, футах в 100 над уровнем моря, в пролете между 4-м и 5-м этажами, в сетчатой трубе, я увидел висящий, весь освещенный и совершенно неподвижный лифт. Из него доносился женский плач и бубнящий мужской бас:

— Расстрелять их надо, мерзавцев!

Па лестнице стоял человек швейцарского вида; с ним рядом другой в замасленных штанах, по-видимому, механик, и какие-то любопытные бабы из 16-й квартиры.

— Экая оказия, — говорил механик и ошеломленно улыбался.

Когда ночью я возвращался из гостей, лифт висел там же, но был темный, и никаких голосов из него не слышалось. Вероятно, двое несчастных, провисев недели две, умерли с голоду.

Бог знает, существует ли сейчас этот Центро- или Главхим, или его уже нет. Может быть, там какой-нибудь Химтред, может быть, еще что-нибудь. Возможно, что давно нет ни этого Хима, ни рыжего лысого, а комнаты уже сданы и как раз на том месте, где стоял стол с чернильницей, теперь стоит пианино или мягкий диван и сидит на месте химического человека обаятельная барышня с волосами, выкрашенными перекисью водорода, читает „Тарзана”. Все возможно. Одно лишь хорошо, что больше туда я не полезу ни пешком, ни в лифте.

Да, многое изменилось на моих глазах.

Где я только ни был! На Мясницкой сотни раз, на Варварке — в Деловом Дворе, на Старой Площади — в Центросоюзе, заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье поле. Меня

гоняло по всей необъятной и странной столице одно желание — найти себе пропитание. И я его находил, — правда скудное, неверное, зыбкое. Находил его на самых фантастических и скоротечных, как чахотка, должностях, добывая его странными, утлыми способами, многие из которых теперь, когда мне полегчало, кажутся уже мне смешными. Я писал торгово-промышленную хронику в газетку, а по ночам сочинял веселые фельетоны, которые мне самому казались не смешнее зубной боли, подавал прошение в Лъно-трест, а однажды ночью, остервенившись от постного масла, картошки, дырявых ботинок, сочинил ослепительный проект световой торговой рекламы. Что проект этот был хороший, показывает уже то, что, когда я привез его на просмотр моему приятелю инженеру, тот обнял меня, поцеловал и сказал, что я напрасно не пошел по инженерной части: оказывается, своим умом я дошел как раз до той самой конструкции, которая уже светится на Театральной площади. Что это доказывает? Это доказывает только то, что человек, борющийся за свое существование, способен на блестящие поступки.

Но довольно! Читателю, конечно, неинтересно, как я нырял в Москве, и рассказываю я все это с единственной целью, чтобы он поверил мне, что Москву 20-х годов я знаю досконально. Я обшарил ее вдоль и поперек. И намерен описать ее. Но, описывая ее, я желаю, чтобы мне верили. Если я говорю, что это так, значит оно действительно так.

На будущее время, когда в Москву начнут приезжать знатные иностранцы, у меня есть в запасе должность гида.

II

.....Эй, квартиру!
(2-й акт „Севильского цирюльника“).

Условимся раз и навсегда: жилище есть основной камень жизни человеческой. Примем за аксиому: без жилища человек существовать не может. Теперь в дополнение к этому, сообщаю всем, проживающим в Берлине, Париже, Лондоне и прочих местах — квартир в Москве нету.

Как же там живут?

А вот так-с и живут.

Без квартир.

* * *

Но этого мало — последние три года в Москве убедили меня, и совершенно определенно, в том, что москвичи утратили и самое понятие слова „квартира“ и словом этим наивно называют что попало. Так, например: недавно один из моих знакомых журналистов на моих глазах получил бумажку: „Предоставить товарищу такому-то квартиру в доме № 7 (там, где типография)“. Подпись и круглая жирная печать.

Товарищу такому-то квартира была предоставлена, и у товарища такого-то я вечером побывал. На лестнице без перил были разлиты щи, и поперек лестницы висел оборванным толстый, как уж, кабель. В верхнем этаже, пройдя по слою битого стекла мимо окон, половина из которых была забрана досками, я попал в тупое и темное пространство и в нем начал кричать. На крик ответила полоса света и, войдя куда-то, я нашел своего приятеля. Куда я вошел? Чорт меня знает! Было что-то темное, как шахта, разделенное фанерными перегородками на пять отделений, представляющих собой большие продолговатые картонки для шляп. В средней картонке сидел приятель на кровати, рядом с приятелем его жена, а рядом с женой брат

приятеля, и означенный брат, не вставая с постели, а лишь протянув руку, на противоположной стене углем рисовал портрет жены. Жена читала „Тарзана”.

Эти трое жили в трубке телефона. Представьте себе вы, живущие в Берлине, как бы вы себя чувствовали, если б вас поселили в трубке. Шепот, звук упавшей на пол спички был слышен через все картонки, а ихняя была средняя.

— Маня! (из крайней картонки).

— Ну ? (из противоположной крайней).

— У тебя есть сахар? (из крайней).

— В Люстгартене, в центре Берлина, собралась многотысячная демонстрация рабочих с красными знаменами... (из соседней правой).

— Конфеты есть... (из противоположной крайней).

— Свинья ты! (из соседней левой).

— В половину восьмого вместе пойдем!

— Вытри ты ему нос, пожалуйста...

Через десять минут начался кошмар: я перестал понимать что я говорю, а что не я, и мои слух улавливал посторонние вещи. Китайцы, специалисты по части пыток, просто щенки. Такой штуки им ни в жизнь не изобрести.

— Как же вы сюда попали? Го-го-го!.. Советская делегация в сопровождении советской колонии отправились на могилу Карла Маркса... Ну?! Вот тебе, и ну! Благодарю нас, я пил... С конфетами?.. Ну, их к чертям!.. Свинья, свинья, свинья! Выбрось его вон! А вы где?.. В Киото и Иокогаме... Не ври, не ври, скотина, я давно уже вижу!.. Как, уборной нету?!

Боже ты мой! Я ушел, не медля ни секунды, а они остались. Я прожил четверть часа в этой картонке, а они живут 7 (семь) месяцев.

Да, дорогие граждане, когда я явился к себе домой, я впервые почувствовал, что все на свете относительно и условно. Мне померещилось, что я живу во дворце, и у каждой двери стоит напудренный лакей в красной ливрее, и царит мертвая тишина. Тишина — это великая вещь, дар богов и рай — это есть тишина. А между тем дверь у меня всегда одна (равно, как и комната) и выходит эта дверь непосредственно в коридор, а наискось живет знаменитый Василий Иванович со своею знаменитой женой.

* * *

Клянусь всем, что у меня есть святого, каждый раз, как я сажусь писать о Москве, проклятый образ Василия Ивановича стоит передо мною в углу. Кошмар в пиджаке и полосатых подштанниках заслонил мне солнце. Я упираюсь лбом в каменную стену и Василии Иванович надо мной как крышка гроба.

Поймите все, что этот человек может сделать невозможной жизнь в любой квартире, и он ее сделал невозможной. Все поступки В. И. направлены в ущерб его ближним, и в кодексе Республики нет ни одного параграфа, которого бы он не нарушил. Нехорошо ругаться матерными словами громко? Нехорошо. А он ругается. Нехорошо пить самогон? Нехорошо. А он пьет. Буйствовать разрешается? Нет, никому не разрешается. А он буйствует. И т. д. Очень жаль, что в кодексе нет пункта, запрещающего игру на гармонике в квартире. Вниманию советских юристов: умоляю ввести его! Вот он играл. Говорю играл, потому что теперь не играет. Может быть, угрызения совести остановили этого человека? О, нет, чудачки из Берлина: он ее пропил.

Словом, он не мыслим в человеческом обществе, и простить его я не могу, даже принимая во внимание его происхождение. Даже наоборот: именно принимая во внимание, простить не могу. Я рассуждаю так: он должен показывать мне, человеку происхождения сомнительного, пример поведения, а никак не я ему. И пусть кто-нибудь докажет мне, что я неправ.

* * *

И вот третий год я живу в квартире с Василием Ивановичем и сколько еще проживу неизвестно. Возможно, и до конца моей жизни, но теперь, после визита в картонку, мне стало легче. Не нужно особенно замахиваться, граждане!

Да, мне стало легче. Я стал терпеливее и к людям участливее.

Доктор Г., мой друг, явился ко мне на прошлой неделе с воплем:

— Зачем я не женился?!

В устах его, первого и признанного женофоба в Москве, такая фраза заслуживала внимания.

Оказалось, домовое управление его уплотнило. Поставило перегородку в его комнате и за перегородкой поселило супружескую пару. Тщетно доктор барахтался и выл. Ничего не вышло. Председатель твердил одно:

— Вот ежели бы вы были женатый, тогда другое дело... А третьего дня доктор явился и сказал:

— Ну, слава богу, что я не женился... Ты с женой ссоришься?

— Гм... иногда... как сказать... — ответил я уклончиво и вежливо, поглядывая на жену, — вообще говоря... бывает иногда... видишь ли...

— А кто виноват бывает? — быстро спросила жена.

— Я, я виноват, — поспешил уверить я.

— Кошмар! Кошмар! Кошмар! — заговорил доктор, глотая чай, — кошмар! Каждый вечер, понимаешь ли, раздается одно и то же: „Ты где был?“ „На Николаевском вокзале“. „Врешь!“ „Ей богу“... „Врешь!“ Через минуту опять: „Ты где был?“ „На Никол...“ „Врешь!“ Через полчаса: „Где ты был?“ „У Ани был“. „Врешь!!!“

— Бедная женщина, — сказала жена.

— Нет, это я бедный, — отозвался доктор, — и я уезжаю в Орехово-Зуево. Чорт ее бери!

— Кого? — спросила жена подозрительно.

— Эту... клинику...

* * *

Наталья Егоровна бросила этой зимой мочалку на пол, а отодрать ее не могла, потому что над столом 9 градусов, а на полу совсем нет градусов и даже одного не хватает. Минус один. И всю зиму играла вальсы Шопена в валенках, а Петр Сергеич нанял прислугу и через неделю ее рассчитал, а прислуга никуда не ушла! Потому что пришел председатель правления и сказал, что она (прислуга) — член жилищного товарищества и занимает площадь, и никто ее не имеет права тронуть. Петр Сергеич, совершенно ошалевший, мечется теперь по всей Москве и спрашивает у всех, что ему теперь делать? А делать ему ровно нечего. У прислуги в сундуке карточка бравого красноармейца, бравшего Перекоп, и карточка жилищного товарищества. Крышка Петру Сергеичу!

А некий молодой человек, у которого в „квартире“ поселили божью старушку, однажды в воскресенье, когда старушка вернулась от обедни, встретил ее словами:

— Надоела ты мне, божья старушка!

И при этом стукнул старушку безменом по голове. И таких случаев, или случаев подобных, я знаю за последнее время целых четыре. Осуждаю ли я молодого человека? Нет. Категорически — нет. Ибо прекрасно чувствую, что посели ко мне в комнату старушку или же второго Василия Ивановича, и я бы взялся за безмен, несмотря на то, что мне с детства дома прививали мысль, что безменом орудовать ни в коем случае не следует.

А Саша предлагал 20 червонцев, чтобы только убрали из его комнаты Анфису Марковну... Впрочем, довольно!

* * *

Отчего же происходит такая странная и неприятная жизнь? Происходит она только от одного — от тесноты. Факт, в Москве тесно.

Что же делать?!

Сделать можно только одно: применить мой проект и этот проект заключается в следующем: *Москву надо отстраивать.*

ПСАЛОМ

Первоначально кажется, что это крыса царапается в дверь. Но слышен очень вежливый человеческий голос:

— Можно войти?

— Можно, пожалуйста.

Поют дверные петли.

— Иди и садись на диван.

(От двери). — А как я по паркету пойду?

— А ты тихонечко иди и не катайся. Ну-с, что новенького?

— Нициво.

— Позвольте, а кто сегодня утром ревел в коридоре?

(Тягостная пауза). — Я ревел.

— Почему?

— Меня мать наслепала.

— За что?

(Напряженная пауза). — Я Сурке ухо укусил.

— Однако.

— Мама говорит, Сурка — негодяй. Он дразнит меня, копейки поотнимал.

— Все равно, таких декретов нет, чтоб из из-за копеек уши людям кусать. Ты, выходит, глупый мальчик.

(Обида). — Я с тобой не возусь.

— И не надо.

(Пауза). — Папа приедет, я ему скажу. (Пауза). Он тебя застрелит.

— Ах, так! Ну, тогда я чай не буду делать. К чему? Раз меня застрелят...

— Нет, ты чай делай.

— А ты выпьешь со мной?

— С конфетами? Да?

— Непременно.

— Я выпью.

На короточках два человеческих тела — большое и маленькое. Музыкальным звоном кипит чайник, и конус жаркого света лежит на странице Джером Джерома.

— Стихи-то ты, наверно, забыл?

— Нет, не забыл.

— Ну, читай.

— Ку...Куплю я себе туфли...

— К фраку.

— К фраку, и буду петь по ночам...

— Псалом.

— Псалом... и заведу... себе собаку...

— Ни...

— Ни-це-во-о...

— Как-нибудь проживем.

— Нибудь как. Пра-зи-ве-ем.

— Вот именно. Чай закипит, выпьем, проживем.
(Глубокий вздох). — Пра-зи-ве-ем.

Звон. Джером. Пар. Конус. Лоснится паркет.

— Ты одинокий.

Джером падает на паркет. Страница угасает.
(Пауза). — Это кто же тебе говорил?
(Безмятежная пауза). — Мама.

— Когда?

— Тебе пуговицу когда присивала. Присивала. Присывает, присывает и говорит Натаске...

— Тэк-с. Погоди, погоди, не вертись, а то я тебя обварю... Ух!..

— Горячий, ух!

— Конфету какую хочешь, такую и бери.

— Вот я эту большую хоцу.

— Подуй, подуй и ногами не болтай.
(Женский голос за сценой). — Славка!

Стучит дверь. Петли поют приятно.

— Опять он у вас. Славка, иди домой!

— Нет, нет, мы с ним чай пьем.

— Он же недавно пил.
(Тихая откровенность). — Я ...не пил.

— Вера Ивановна. Идите чай пить.

— Спасибо, я недавно...

— Идите, идите, я вас не пущу...

— Руки мокрые... белье я вешаю...

(Непрошенный заступник). — Не смей мою маму тянуть.

— Ну, хорошо, не буду тянуть... Вера Ивановна, садитесь...

— Погодите, я белье повешу, тогда приду.

— Великолепно. Я не буду тушить керосинку.

— А ты, Славка, выпьешь, иди к себе. Спать. Он вам мешает.

— Я не месаю. Я не салю.

Петли поют неприятно. Конусы в разные стороны. Чайник безмолвен.

— Ты уже спать хочешь?

— Нет, я не хоцу. Ты мне сказку Расскажи.

— А у тебя уже глаза маленькие.

— Нет. Не маленькие, Расскажи.

— Ну, иди сюда, ко мне. Голову клади. Так. Сказку? Какую же тебе сказку рассказать? А?

— Про мальчика, про того...

— Про мальчика? Это, брат, трудная сказка. Ну, для тебя, так и быть.

Ну-с, так вот, жил, стало-быть, на свете мальчик. Да-с. Маленький, лет так приблизительно четырех. В Москве. С мамой. И звали этого мальчика Славка.

— Угу... Как меня?

— Довольно красивый, но был он, к величайшему сожалению, драчун. И дрался он чем ни попало — кулаками, и ногами, и даже калошами. А однажды на лестнице девочку из 8-го номера, славная такая девочка, тихая, красавица, а он ее по морде книжкой ударил.

— Она сама дерется...

— Погоди. Это не о тебе речь идет.

— Другой Славка?

— Совершенно другой. На чем, бишь, я остановился? Да... Ну, натурально, пороли этого Славку каждый день, потому что нельзя же, в самом деле, драки позволять. А Славка все-таки не унимался. И дошло дело до того, что в один прекрасный день Славка поссорился с Шуркой, тоже мальчик такой был, и, недолго думая, хватя его зубами за ухо, и пол уха — как не бывало. Гвалт тут поднялся, Шурка орет, Славку порют, он тоже орет... Кой-как приклеили Шуркино ухо синдетиконом, Славку, конечно, в угол поставили... И вдруг — звонок... И является совершенно неизвестный господин с огромной рыжей бородой и в синих очках и спрашивает басом: „А позвольте узнать, кто здесь будет Славка?“ Славка отвечает: „Это я Славка”. — „Ну, вот что, — говорит, — Славка, я — надзиратель над всеми драчунами, и придется мне тебя, уважаемый Славка, удалить из Москвы. В Туркестан”. Видит Славка, дело плохо, и чистосердечно раскаялся. „Признаюсь, — говорит, — что дрался, я и на лестнице играл в копейки, и маме бессовестно наврал — сказал, что не играл... Но больше этого не будет, потому что я начинаю новую жизнь”. — „Ну, — говорит надзиратель, — это другое дело. Тогда тебе следует награда за чистосердечное твое раскаяние”. И немедленно повел Славку в наградной раздаточный склад. И видит Славка, что там видимо-невидимо разных вещей. Тут и воздушные шары, и автомобили, и аэропланы, и полосатые мячики, и велосипеды, и барабаны. И говорит надзиратель: „Выбирай, что твоя душа хочет”. А вот что Славка выбрал, я и забыл...

(Сладкий, сонный бас). — Велосипед!..

— Да, да, вспомнил — велосипед. И сел немедленно Славка на велосипед и покатил прямо на Кузнецкий мост. Катит и в рожок трубит, а публика стоит на тротуаре, удивляется: „Ну и замечательный же человек этот Славка. И как он под автомобиль не попадет?“ А Славка сигналы дает и кричит извозчикам: „Право держи!” Извозчики летят, машины летят, Славка нажаривает, и идут солдаты и марш играют, так что в ушах звенит...

— Уже?..

Петли поют. Коридир. Дверь. Белые руки, обнаженные по локоть.

— Боже мой. Давайте, я его раздену.

— Приходите же. Я жду.

— Поздно...

— Нет, нет... И слышать не хочу...

— Ну хорошо.

Конусы света. Начинает звенеть. Выше фитили. Джером не нужен — лежит на полу. В слюдяном окне керосинки — маленький радостный ад. Буду петь по ночам псалом. Как-нибудь проживем. Да, я одинокий. Псалом печален. Я не умею жить. Мучительнее всего в жизни — пуговицы. Они отваливаются, как будто отгнивают. Отлетела на жилете вчера одна. Сегодня одна на пиджаке и одна на брюках сзади. Я не умею жить с пуговицами, но я все вижу и все понимаю. Он не приедет. Он меня не застрелит. Она говорила тогда в коридоре Наташке: „Скоро вернется муж, и мы уедем в Петербург”. Ничего он не вернется. Он не вернется, поверьте мне. Семь месяцев его нет, и три раза я видел случайно, как она плачет. Слезы, знаете ли, не скроешь. Но только он очень много потерял оттого, что бросил эти белые, теплые руки. Это его дело, но я не понимаю, как же он мог Славку забыть.

Как радостно спели петли.

Конусов нет. В слюдяном окошке — черная мгла. Давно замолк чайник. Свет лампы тысячью маленьких глазков глядит сквозь реденький сатинет.

— Пальцы у вас замечательные. Вам бы пианисткой быть.

— Вот поеду в Петербург, опять буду играть...

— Вы не поедете в Петербург... У Славки на шее такие же завитки, как и у вас... А у меня тоска, знаете ли. Скучно так, чрезвычайно как-то.

Жить невозможно. Кругом пуговицы, пуговицы, пуго...

— Не целуйте меня... не целуйте... мне нужно уходить... Поздно...

- Вы не уйдете. Вы там начнете плакать. У вас есть эта привычка.
- Неправда. Я не плачу. Кто вам сказал?
- Я сам знаю. Я сам вижу. Вы будете плакать, а у меня тоска... тоска...
- Что я делаю... что вы делаете...

Конусов нет. Не светит лампа сквозь реденький сатинет. Мгла. Мгла.

Пуговиц нет. Я куплю Славке велосипед. Не куплю себе туфли к фраку, не буду петь по ночам псалом. Ничего, какнибудь проживем.

ЧЕТЫРЕ ПОРТРЕТА

— Ну-с, господа, прошу вас, — любезно сказал хозяин и царственным жестом указал на стол.

Мы, не заставили себя просить вторично, уселись и развернули стоящие дыбом крахмальные салфетки.

Село нас четверо: хозяин — бывший присяжный поверенный, кузен его — бывший присяжный поверенный же, кузина, бывшая вдова действительного статского советника, впоследствии служащая в Совнархозе, а ныне просто Зинаида Ивановна и гость — я — бывший... впрочем, это все равно... ныне человек с занятиями, называемыми неопределенными.

Первоапрельское солнце ударило в окно и заиграло в рюмках.

— Вот и весна, слава богу; измучились с этой зимой, — сказал хозяин и нежно взялся за горлышко графинчика.

— И не говорите! — воскликнул я и, вытащив из коробки кильку, в миг ободрал с нее шкуру, затем намазал на кусок батона сливочного масла, прикрыл его килечным растерзанным телом и любезно оскалив зубы в сторону Зинаиды Ивановны, добавил: — Ваше здоровье!

И затем мы глотнули.

— Не слабо ли... кхм... разбавил? — заботливо осведомился хозяин.

— Самый раз, — ответил я, переводя дух.

— Немножко, как будто, слабовато, — отозвалась Зинаида Ивановна.

Мужчины хором запротестовали, и мы выпили по второй. Горничная внесла миску с супом.

После второй рюмки божественная теплота разлилась у меня внутри, и благодущие приняло меня в свои объятия. Я мгновенно полюбил хозяина, его кузена, и нашел, что Зинаида Ивановна, несмотря на свои 38 лет, еще очень и очень недурна, и борода Карла Маркса, помещавшегося прямо против меня рядом с картой железных дорог на стене, вовсе не так уж огромна, как это принято думать. История появления Карла Маркса в квартире поверенного, ненавидящего его всей душой такова. Хозяин мой — один из самых сообразительных людей в Москве, если не самый сообразительный. Он едва ли не первый почувствовал, что происходящее — штука серьезная и долгая и поэтому окопался в своей квартире не кое-как, кустарным способом, а основательно. Первым долгом он признал Терентия, и Терентий изгадил ему всю квартиру, соорудив в столовой нечто вроде глиняного гроба. Тот же Терентий проковырял во всех стенах громадные дыры, сквозь которые просунул толстые трубы. После этого хозяин, полюбовавшись работой Терентия, сказал:

— Могут не топить парового, бандиты, — и поехал на Плющиху. С Плющихи он привез Зинаиду Ивановну и поселил ее в бывшей спальне, комнате на солнечной стороне. Кузен приехал через три дня из Минска. Он кузена охотно и быстро приютил в бывшей приемной (из передней направо) и поставил ему черную печечку. Затем пятнадцать пудов муки он всунул в библиотеку (прямо по коридору), запер дверь на ключ, повесил на дверь ковер, к коврику приставил этажерку, на этажерку пустые бутылки и какие то старые газеты, и библиотека словно сгнула — сам черт не нашел бы в нее хода. Таким образом из шести комнат осталось три. В одной он поселился сам с удостоверением, что у него порок сердца, а между оставшимися двумя комнатами (гостиная и кабинет) снял двери, превратив их в странное двойное помещение.

Это не была одна комната, потому что их было две, но и жить и них. как в двух, было невозможно, тем более, что в первой (гостиной) непосредственно под статуей голой женщины и рядом с пианино поставил кровать и, признав из кухни Сашу, сказал ей:

— Тут будут приходиться эти. Так скажешь, что спишь здесь.

Саша заговорщически усмехнулась и ответила:

— Хорошо барин.

Дверь кабинета он облепил мандатами, из которых явствовало, что ему — юрисконсульту такого-то учреждения полагается „добавочная площадь”. На добавочной площади он устроил такие баррикады из двух полок с книгами, старого велосипеда без шин и стульев с гвоздями, и трех карнизов, что даже я, отлично знакомый с его квартирой, в первый же визит, после приведения квартиры в боевой вид, разбил себе оба колена, лицо и руки и разорвал сзади и спереди пиджак по живому месту.

На пианино он налепил удостоверение, что Зинаида Ивановна — учительница музыки, на двери ее комнаты удостоверение, что она служит в Совнархозе, на двери кузена, что тот секретарь. Двери он стал отворять сам после 3-го звонка, а Саша в это время лежала на кровати возле пианино.

Три года люди в серых шинелях и черных пальто, объединенных молью и девицы с портфелями и в дождевых брезентовых плащах рвались в квартиру, как пехота на проволочные заграждения, и ни черта не добились. Вернувшись через три года в Москву, из которой я легкомысленно уехал, я застал все на прежнем месте. Хозяин только немного похудел и жаловался, что его совершенно замучили.

Тогда же он и купил четыре портрета. Луначарского он пристроил в гостиной на самом видном месте, так что Нарком стал виден решительно со всех точек в комнате. В столовой он повесил портрет Маркса, а в комнате кузена над великолепным зеркальным желтым шкафом кнопками прикрепил Троцкого. Троцкий был изображен в пенсне, как полагается, и с достаточно благодушной улыбкой на губах. Но лишь хозяин впился четырьмя кнопками в фотографию, мне показалось, что Троцкий нахмурился. Так хмурым он и остался. Затем хозяин вынул на папки Карла Либкнехта и направился в комнату кузины. Та встретила его на пороге и, ударив себя по бедрам обтянутым полосатой юбкой, вскричала:

— Эт-того не доставало! Пока я жива, Александр Палыч, никаких Маратов и Дантонов в моей комнате не будет!

— Зин... при чем здесь Мара... — начал было хозяин, но энергичная женщина повернула его за плечи и выпихнула вон. Хозяин задумчиво повертел в руках цветную фотографию и сдал ее в архив.

Ровно через полчаса последовала очередная атака. После третьего звонка и стука кулаками в цветные волнистые стекла парадной двери, хозяин, накинув вместо пиджака, измызганный френч, впустил трех. Двое были в сером, один в черном с рыжим портфелем.

— У вас тут комнаты... — начал первый серый и ошеломленно окинул переднюю взором. Хозяин предусмотрительно не зажег электричества, и зеркала, вешалки, дорогие кожаные стулья и олени рога расплылись во мгле.

— Что вы, товарищи!! — ахнул хозяин и всплеснул руками, — какие тут комнаты?! Верите ли, шесть комиссий до вас было на этой неделе. Хоть и не смотрите! Не только лишней комнаты нет, но еще мне не хватает. Извольте видеть, — хозяин вытащил из кармана бумажку, — мне полагается 16 аршин добавочных, а у меня 13½. Да-с. Где я, спрашивается, возьму 2½ аршина.

— Ну, мы посмотрим, — мрачно сказал второй серый.

— П-пожалуйста, товарищи!..

И тотчас перед нами предстал Луначарский. Трое, открыв рты, посмотрели на наркомпроса.

— Тут кто? — спросил первый серый, указывая на кровать.

Товарищ Епишина, Александра Ивановна.

— Она кто?

— Техническая работница, — сладко улыбаясь, ответил хозяин, стиркой занимается.

— А не прислуга она у вас? — подозрительно спросил черный.

В ответ хозяин судорожно засмеялся:

— Да что вы, товарищ! Что я, буржуй какой-нибудь, чтобы прислугу держать! Тут на еду не хватает, а вы, прислуга! Хи-хи!

— Тут? — лаконически спросил черный, указывая на дыру в кабинет.

— Добавочная, 13½, под конторой моего учреждения, — скороговоркой ответил хозяин.

Черный немедленно шагнул в полутемный кабинет. Через секунду в кабинете с грохотом рухнул таз и я слышал, как черный, падая, ударился головой о велосипедную цепь.

— Вот, видите, товарищи, — зловеще сказал хозяин, — я предупреждал: чортова теснота.

Черный выбрался из волчьей ямы с искаженным лицом. Оба колена у него были разорваны.

— Не ушиблись ли вы, — испугано спросил хозяин.

— А.. бу..бу..ту..ту..ма... — невнятно пробурчал что-то черный.

— Тут товарищ Настурцина, — водил и показывал хозяин — тут я, — и хозяин широко показал на Карла Маркса. Изумление нарастало на лицах трех. — А тут, товарищ Щербовский, — и торжественно он махнул на Троцкого.

Трое в ужасе глядели на портрет.

— Да он, что, партийный, что ли? — спросил второй серый.

— Он не партийный, — сладко ухмыльнулся хозяин, — но он сочувствующий. Коммунист в душе. Как и я сам. Тут у нас все ответственные работники живут, товарищи.

— Ответственные, сочувствующие, — хмуро забубнил черный, потирая колено, — а шкафы зеркальные. Предметы роскоши.

— Рос-ко-ши?! — укоризненно ахнул хозяин, — что вы, товарищ!! Белье тут лежит последнее, рваное. Белье, товарищ, предмет необходимости. — Тут хозяин полез в карман за ключом и мгновенно остановился, побледнев, потому что вспомнил, что как раз вчера шесть серебряных подстаканников заложил между рваными наволочками.

— Белье, товарищи, — предмет чистоты. И наши дорогие вожди, — хозяин обоими руками указал на портреты, все время указывают пролетариату на необходимость держать себя в чистоте. Эпидемические заболевания... тиф, чума и холера, все оттого, что мы, товарищи, еще недостаточно осознали, что единственным спасением, товарищи, является содержание себя и чистоте. Наш вождь...

Тут мне совершенно явственно показалось, судорога прошла по лицу фотографического Троцкого и губы его расклеились как будто он что-то хотел сказать. То же самое, вероятно, почудилось и хозяину, потому что он смолк внезапно и быстро перевел речь:

— Тут, товарищи, уборная, тут ванна, но конечно испорченная, видите, в ней ящик с тряпками лежит, не до ванн теперь, вот кухня — холодная. Не до кухонь теперь. На примусе готовим. Александра Ивановна, вы чего здесь в кухне? Там вам письмо есть в вашей комнате. Вот, товарищи, и все! Я думаю просить себе еще дополнительную комнату, а то, знаете, каждый день себе колени разбивать — эт-то, знаете ли, слишком накладно. Куда это надо обратиться, чтобы мне дали еще одну комнату в этом доме? Под контору.

— Идем, Степан, — безнадежно махнув рукой, сказал первый серый и все трое направились, стуча сапогами в переднюю.

Когда шаги смолкли на лестнице, хозяин рухнул на стул.

— Вот, любуйтесь, — вскричал он, — и это каждый божий день! Честное нам даю слово, что они меня докапают.

— Ну, знаете ли, — ответил я, — это неизвестно, кто кого докапает!

— Хи-хи! — хихикнул хозяин и весело грянул: — Саша! давай самовар!..

Такова была история портретов и в частности Маркса. Но возвращаюсь к рассказу.

...После супа, мы съели бефстроганов, выпили по стаканчику белого Ай-Даниля винделправления и Саша внесла кофе. И тут в кабинете грянул рассыпчатый телефонный звонок.

— Маргарита Михална, наверно, — приятно улыбнулся хозяин и полетел в кабинет.

— Да... да... — слышалось из кабинета, но через три мгновения донесся вопль:

— Как?!

Глухо заквакала трубка и опять вопль:

— Владимир Иванович! Я же просил! Все служащие! Как же так?!

— А-а! — ахнула кузина, — уж не обложили ли его?!

Загремела с размаху трубка и хозяин появился в дверях.

— Обложили? — крикнула кузина.

— Поздравляю, — бешено ответил хозяин, обложили вас, дорогая!

Как?! — кузина встала вся в пятнах, — они не имеют права! Я же говорила, что в то время я служила!

— Говорила, говорила! — передразнил хозяин, — не говорить нужно было, а самой посмотреть, что этот мерзавец-домовой в списке пишет! А все ты — повернулся он к кузену, — просил, ведь, сходи, сходи! А теперь, не угодно ли: он нас всех трех пометил!

— Ду-рак ты, — ответил кузен, наливаясь кровью, при чем здесь я? Я два раза говорил этой каналье, чтоб отметил как служащих! Ты сам виноват! Он твой знакомый. Сам бы и просил!

— Сволочь он, а не знакомый! — загремел хозяин, — называется приятель! Трус несчастный. Ему лишь бы с себя ответственность снять.

— На сколько? — крикнула кузина.

— На пять-с!

— А почему только меня? — спросила кузина.

Не беспокойся! — саркастически ответил хозяин, — дойдет и до меня и до него. Буква, видно, не дошла. Но только если тебя на пять, то на сколько же они меня шарахнут?! Ну, вот что — расслаживаться тут нечего. Одевайтесь, поезжайте к районному инспектору — объясните, что ошибка. Я тоже поеду. Живо, живо!

Кузина полетела из комнаты.

— Что ж это такое? — горестно завопил хозяин, — ведь это ни отдыху, ни сроку не дают. Не в дверь, так по телефону! От реквизиций отбрились, теперь налог. Доколе это будет продолжаться? Что они еще придумают?!

Он взвел глаза на Карла Маркса, но тот сидел неподвижно и безмолвно. Выражение лица у него было такое, как будто он хотел сказать:

— Это меня не касается!

Край его бороды золотило апрельское солнце.

САМОГОННОЕ ОЗЕРО

В десять часов вечера под светлое воскресенье утих наш проклятый коридор. В блаженной тишине родилась у меня жгучая мысль о том, что исполнилось мое мечтанье и бабка Павловна, торгующая папиросами, умерла. Решил это я потому, что из комнаты Павловны не доносилось криков истязаемого ее сына Шурки.

Я сладострастно улыбнулся, сел в драное кресло и развернул томик Марка Твэна. О, миг блаженный, светлый час!..

...И в десять с четвертью вечера в коридоре трижды пропел петух.

Петух — ничего особенного. Ведь жил же у Павловны полгода поросенок в комнате. Вообще Москва не Берлин, это раз, а во-вторых, человека, живущего полтора года в коридоре № 50, не удивишь ничем. Не факт неожиданного появления петуха испугал меня, а то

обстоятельство, что петух пел в десять часов вечера. Петух — не соловей и в довоенное время пел на рассвете.

Неужели эти мерзавцы напоили петуха? — спросил я, оторвавшись от Твэна, у моей несчастной жены.

Но та не успела ответить. Вслед за вступительной петушиной фанфарой, начался непрерывный вопль петуха. Затем завыл мужской голос. Но как! Это был непрерывный басовой вой в до-диезной душевной боли и отчаяния, предсмертный тяжкий вой.

Захлопали все двери, загрели шаги. Твэна я бросил и кинулся в коридор.

В коридоре под лампочкой, в тесном кольце изумленных жителей знаменитого коридора, стоял неизвестный мне гражданин. Ноги его были растопырены, как ижица, он покачивался, и не закрывая рта, напускал этот самый иступленный вой, испугавший меня. В коридоре я расслышал, что нечленораздельная длинная нота (фермато) сменилась речитативом:

— Так-то, — хрипло давился и завывал неизвестный гражданин, обливаясь крупными слезами, — Христос воскрес! Очень хорошо поступаете! Так не доставайся же никому!!! А-а-а-а!!

И с этими словами он драл пучками перья из хвоста у петуха, который бился у него в руках.

Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что петух совершенно трезв. Но на лице у петуха была написана нечеловеческая мука. Глаза его вылезали из орбит, он хлопал крыльями и выдирался из цепких рук неизвестного.

Павловна, Шурка, шофер, Аннушка, Аннушкин Миша, Дуськин муж и обе Дуськи стояли кольцом в совершенном молчании и неподвижно, как вколоченные в пол. На сей раз я их не виню. Даже они лишились дара слова. Сцену обдирания живого петуха они видели, как и я, впервые.

Квартхоз квартиры № 50 Василий Иванович, криво и отчаянно улыбался, хватая петуха то за неуловимое крыло, то, за ноги, пытался вырвать его у неизвестного гражданина.

Иван Гаврилович! Побойся бога! — вскрикивал он, трезвея на моих глазах. — Никто твоего петуха не берет, будь он трижды проклят! Не мучай птицу под светлое Христово воскресение! Иван Гаврилович, приди в себя!

Я опомнился первым и вдохновенным вольтом выбил петуха из рук гражданина. Петух взметнулся, ударился грузно о лампочку, затем снизился и исчез за поворотом, там, где Павловнина кладовка. И гражданин мгновенно стих.

Случай был экстраординарный, как хотите, и лишь поэтому он кончился для меня благополучно. Квартхоз не говорил мне, что я, если мне не нравится эта квартира, могу подыскать себе особняк. Павловна не говорила, что я жгу лампочку до пяти часов, занимаясь „неизвестно какими делами“, и что я вообще, совершенно напрасно затесался туда, где проживает она. Шурку она имеет право бить, потому это ее Шурка. И пусть я заведу себе „своих Шурок“ И ем их с кашей. — „Я, Павловна, если вы еще раз ударите Шурку по голове, подам на вас в суд и вы будете сидеть год за истязание ребенка“, — помогало плохо. Павловна грозила, что она подаст „заявку“ в правление, чтобы меня выселили. „Ежели кому не нравится, пусть идет туда, где образованные“.

Словом, на сей раз ничего не было. В гробовом молчании разошлись все обитатели самой знаменитой квартиры в Москве. Неизвестного гражданина квартхоз и Катерина Ивановна под руки повели на лестницу. Неизвестный шел красный, дрожа и покачиваясь, молча и выкатив убойные, угасающие глаза. Он был похож на отравленного беленой.

Обессилевшего петуха Павловна и Шурка поймали под кадушкой и тоже унесли.

Катерина Ивановна, вернувшись, рассказала:

— Пошел мой сукин сын (читай квартхоз — муж Катерины Ивановны), как добрый за покупками. Купил-таки у Сидоровны четверть. Гаврилыча пригласил — идем, говорит, попробуем. Все люди, как люди, а они наакались, прости господи мое согрешение, еще поп в

церкви не звякнул. Ума не приложу, что с Гаврилычем сделалось. Выпили они, мой ему и говорит: чем тебе, Гаврилыч, с петухом в уборную иттить, дай я его подержу. А тот возьми, да взбеленись. А, говорит, ты, говорит, петуха хочешь присвоить? И начал выть. Что ему почудилось, господь его ведаёт!..

В два часа ночи квартхоз, разговевшись, выбил все стекла, избил жену и свой поступок объяснил тем, что она заела ему жизнь. Я в это время был с женою у заутрени и скандал шел без моего участия. Население квартиры дрогнуло и вызвало председателя правления. Председатель правления явился немедленно. С блестящими глазами и красный, как флаг, посмотрел на посиневшую Катерину Ивановну и сказал:

— Удивляюсь я тебе, Василь Иваныч, глава дома и не можешь с бабой совладать.

Это был первый случай в жизни нашего председателя, когда он не обрадовался своим словам. Ему лично, шоферу и Дуськину мужу пришлось обезоруживать Василь Иваныча, при чем он порезал себе руку (Василь Иваныч после слов председателя, вооружился кухонным ножом, чтобы резать Катерину Ивановну: — „Так я ж ей покажу”).

Председатель, заперев Катерину Ивановну в кладовке Павловны, внушал Иванычу, что Катерина Ивановна убежала и Василь Иваныч заснул со словами:

— Ладно. Я ее завтра зарежу. Она моих рук не избежит.

Председатель ушел со словами :

— Ну и самогон у Сидоровны. Зверь — самогон.

В три часа ночи явился Иван Сидорыч. Публично заявляю: если бы я был мужчина, а не тряпка, я, конечно, выкинул бы Ивана Сидорыча вон из своей комнаты. Но я его боюсь. Он самое сильное лицо в правлении после председателя. Может быть выселить ему и не удастся, (а может и удастся, чорт его знает!), но отравить мне существование он может совершенно свободно. Для меня же это самое ужасное. Если мне отравят существование, я не могу писать фельетоны, а если я не буду писать фельетоны, то произойдет финансовый крах.

— Драсс... гражданин журн... лист, — сказал Иван Сидорыч, качаясь, как былинка под ветром.

— Я к вам.

— Очень приятно.

— Я насчет эсперанто...

— Заметку бы написа... статью... Желая открыть общество... Так и написать: „Иван Сидорыч, эсперантист, желает, мол”...

И вдруг Сидорыч заговорил на эсперанто (кстати: удивительно противный язык).

Не знаю, что прочел эсперантист в моих глазах, но только он вдруг съежился, странные кургузые слова, похожие на помесь латинско-русских слов, стали обрываться и Иван Сидорыч перешел на общедоступный язык.

— Впрочем, извин... с... я завтра.

— Милости просим, — ласково ответил я, подводя Ивана Сидорыча к двери (он почему-то хотел выйти через стену).

— Его нельзя выгнать? — спросила по уходе жена.

— Нет, детка, нельзя.

Утром, в девять, праздник начался матлотом, исполненным Василием Ивановичем на гармонике (плясала Катерина Ивановна) и речью вдребезги пьяного Аннушкиного Миши, обращенной ко мне. Миша от своего лица и от лица неизвестных мне граждан выразил мне свое уважение.

В 10 пришел младший дворник (выпивший слегка), в 10 ч. 20 м. старший (мертво пьяный), в 10 ч. 25 м. истопник (в страшном состоянии). Молчал и молча ушел. 5 миллионов, данные мною, потерял тут же в коридоре.

В полдень Сидоровна нахально не долила на три пальца четверть Василию Ивановичу. Тот тогда, взяв пустую четверть, отправился куда следует и заявил:

— Самогоном торгуют. Желаю арестовать.

— А ты не путаешь? — мрачно спросили его где следует. По нашим сведениям самогону в вашем квартале нету.

— Нету? — горько усмехнулся Василий Иванович. — Очень даже замечательны ваши слова.

— Так вот и нету. И как ты оказался трезвый, ежели у вас самогон? Иди-ка лучше — проспись. Завтра подашь заявление, которые с самогоном.

— Тэк-с... понимаем, — сказал ошеломленно улыбаясь Василий Иванович. — Стало быть управы на их нету? Пущай не доливают. А что касается, какой я трезвый, понюхайте четверть. Четверть оказалась с „явно выраженным запахом сивушных масел”.

— Веди! сказали тогда Василию Ивановичу. И он привел. Когда Василий Иванович проснулся, он сказал Катерине Ивановне:

— Сбегай к Сидоровне за четвертью.

— Очнись, окаянная душа, — ответила Катерина Ивановна, — Сидоровну закрыли.

— Как? Как же они пронюхали? — удивился Василий Иванович.

Я ликовал. Но ненадолго. Через полчаса Катерина Ивановна явилась с полной четвертью. Оказалось, что забил свеженький источник у Макеича через два дома от Сидоровны. В 7 часов вечера я вырвал Наташу из рук ее супруга, пекаря Володи. („Не смей бить!”, „Моя жена” и т. д.).

В 8 часов вечера, когда грянул лихой матлот и заплясала Аннушка, жена встала с дивана и сказала:

— Больше я не могу. Сделай, что хочешь, но мы должны уехать отсюда.

— Детка, — ответил я в отчаянии. — Что я могу сделать? Я не могу достать комнату. Она стоит 20 миллиардов, я получаю четыре. Пока я не допишу романа, мы не можем ни на что надеяться. Терпи.

— Я не о себе, — ответила жена. — Но ты никогда не допишешь романа. Никогда. Жизнь безнадежная. Я приму морфий.

При этих словах я почувствовал, что я стал железным.

Я ответил и голос мой был полон металла:

— Морфию ты не примешь, потому что я тебе этого не позволю. А роман я допишу и, смею уверить, это будет такой роман, что от него небу станет жарко.

Затем я помог жене одеться, запер дверь на ключ и замок, попросил Дусю первую (не пьет ничего кроме портвейна), смотреть, чтоб замок никто не ломал, и увез жену на три дня праздника на Никитскую к сестре.